

ИРЕНА ЖЕЛВАКОВА\*

## «СМОТРУ В ОКНО...»\*\*

DOI: 10.17323/2587-8719-2023-3-283-319.

...Больше ничего  
Не выжмешь из рассказа моего...

*А. С. Пушкин*

### ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ К ИСТОРИЙКАМ, ВСПЛЫВШИМ В ПАМЯТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Эти небольшие историйки собрались стихийно, без всякой последовательной хронологии. Отдельные фразы вдруг вырывались из памяти, особенно по ночам, не претендуя на «мемуар», ибо подробности разговоров, невольных реплик и полусшепота, минутных встреч и длительного союзничества даже с «людьми большого формата», как выразился когда-то Томас Манн, за долгие годы выдохлись, как дорогое выдержанное вино, которое удавалось не часто пригубить. Да и порочная особенность моей памяти — быстро забывать из-за непривычки и нерешительности мало что записывать, оставляя яркое впечатление на потом («ведь не забуду же никогда такое важное событие»).

Обычно все кажущееся сомнительным, обидным и даже страшным (привычка детского выживания со времен войны) самонадеянно пропускать мимо ушей, невольно отправлялось на дальний склад памяти в надежде на будущую невостребованность.

Наступившее новое время позволило преодолеть образовавшийся рубеж и как-то задом наперед шагнуть в прошлое, открыв в книге задержавшихся воспоминаний и свою, узко частную, порой забавную страницу.

Необыкновенные люди, мне встретившиеся большей частью во время моего долгого служения в Доме-музее Герцена на Сивцевом Вражке,

\*Желвакова Ирена Александровна, к. и. н., член Союза писателей Москвы, заведующая Домом-музеем А. И. Герцена — Отделом ГМИРЛИ им. В. И. Даля (Москва), irena.zhelwakowa@yandex.ru.

\*\*© Желвакова, И. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

излучали, помимо несравненных талантов, и необыкновенное чувство юмора. Известно, только мнимое величие не приемлет смеха. Давно вписалось в современное сознание читателя, что музыка панегирика многим выдающимся личностям XX столетия для каждого на свой лад звучала и будет звучать всегда в творчестве многочисленных объективных и крайне престижных мемуаристов. На такую роль, понятно, мы не смеем претендовать, да это и не наша задача.

«ВАМ ПРОСТЫЕ ИЛИ...?» (АКСЕНОВ)

Смотрю в окно...

Меняются сезоны.

Сегодня солнца луч едва проник сквозь бурную капель

Дождь, осень...

А можно ли вернуться в лето?

Того счастливого ялтинского дня...

Когда это было? Теперь и не вспомнить, хотя одна фраза прочно забита в память, будто молотком по шляпке гвоздя ударили, явно не промахнувшись.

Ялта конца 60-х – начала 70-х была истинной отрадой, отдохновением для каждого осмелившегося стать ненадолго свободным ввиду бескрайнего моря, легкого воздуха и зеленых, словно плюшевых, лесистых гор, подтянувшихся ближе к небу. Притом все это роскошество, дарованное природой, воздавалось за так — вне зависимости от кошелька, общественного строя и табели о рангах.

В то лето *N*-ого года жизнь меня случайно свела с Василием Аксеновым и Григорием Поженяном. Повторяю, случайно, как бывает в неразберихе отпускных дней, когда хватаешься за самое фантастическое предложение почти незнакомых людей. Впрочем, *не знакомых*, а знаменитых. Наверное, этих героев времени не стоит даже представлять. О них и тогда сверх меры все были наслышаны. Но кроки с портретов стоит все-таки снять.

Лейтенант Поженян — герой Войны, имя которого, как погибшего в славных боях, еще при жизни увековечили на памятнике в Севастополе.

Григорий — студент, не единожды изгнанный из Литинститута за мужественную защиту опальных друзей, учителей и сокурсников, а по легенде, впрочем вполне реальной, однажды покинувший свою альма-матер... в стойке на руках по причине сказанной начальством заведения бесповоротной фразы: «Чтоб ноги твоей тут не было».

Григорий Поженян — Поэт со шлейфом известности благодаря песням из его же кинофильмов. Кто не знал и даже не подпевал, мурлыча: «Мы с тобой два берега у одной реки». И главное — смелый, рискованный, даже, по отзыву военного начальника, «хулиганистый» в своем бесшабашном, безбашенном (как бы выразились теперь), истинном героизме.

Вася, Василий, В. Аксенов — знаменитость в квадрате, красавец, стиляга, плейбой, модный — всегда, *особенный* — всегда; Талант (дитя «послесталинского пробуждения»), давно признанный «Юностью» и легко изгнанный из нее по причине антисоветчины, вскрытой бдительной властью. В 60-е — кумир, намертво зацепивший молодежь раскованной манерой письма и невыразимой, в обычных терминах не передаваемой легкостью поведения героев своих современнейших творений, удивительных даже вызывающими названиями: «Апельсины из Марокко», «Затоваренная бочкотара».

Кажется, к этому времени Аксенова перестали печатать, и он увлеченно рассказывал всем, что взялся за перевод английского романа «Рэгтайм», «в ритмах» которого в дальнейшем (образно выражаясь чужими словами) он и продолжал жить.

Конечно, эти новые творческие поиски знаменитого автора совершенно были мне неведомы. Глубокая внутренняя жизнь официального члена Союза писателей, входящего в тайную зону самиздата, никак не отражалась на общем празднике летней жизни, которую мы разделяли с моей подругой, более приближенной к нашим героям.

Люся Карпинская-Чеботкевич, жена легендарного Лена Карпинского, к тому времени освобожденная от всех своих высоких постов и более мелких должностей (что заслуживает не одного романа), готова была поделиться со мной всякой настигшей ее радостью.

И вот, в один прекрасный день на ялтинской набережной, возле недоступного многим ресторана «Ореанда», остановилась редкостная зеленая «Волга». За рулем — непередаваемый, одиозный Василий Павлович. Рядом — Григорий Михайлович. Люся Карпинская — на заднем сидении, где и мне случай оставил местечко.

У Григория Михайловича — *idée fixe* во что бы то ни стало обнаружить в горах над Ялтой памятник погибшим, почти мемориал в память прошедшей войны, где, по слухам, начертаны слова из его всем известного стихотворения. «Тех, что погибли...»

Дорога кружит вверх среди великолепных лесов и рощиц. Кажется, мы поднимаемся на Аю-Даг. В горы, в горы... Теперь географию и маршрут даже с подсказкой компьютера трудно уточнить. Едем,

останавливаемся, оглядываемся вокруг. Григорий, человек на редкость хозяйственный, проявляет трогательную заботу, заявляет в свойственной ему манере приказа: «Вот сейчас мы будем делать завтрак».

Из внушительного кулька вынимается и на зеленом капоте багажника с причмокиванием раскладывается припасенная им нехитрая снедь: зеленый лучок, редисочка, опрятно порезанные ломтики хлеба, соль в металлической коробке, колбаска, огурчики, аккуратно складывающиеся в изысканный натюрморт «накрытого стола» (голл. *Banketje*), наподобие полотен известных голландцев. И, конечно... Дорисуйте еще бутылек чего-то крепкого, что не стыдно употребить ради такого случая. Нет, не привычный «Солнцедар» с расплывшейся этикеткой, кажется, с восходящем светилом или «портвешок» копеек за... (боюсь ошибиться), известный повсеместно на роскошных берегах Черноморья. И вот вам — цельная картина, пронизанная солнцем. Григорий, как старые мастера, будто бы уловил нечто в устройстве мироздания советского жителя — и из обычных будней выстроил праздник.

Изрядно подкрепившись в ожидании будущей встречи с памятником, едем дальше и выше. Навстречу — группа молодежи, вполне приветливой, даже симпатичной; Васю, может быть, и узнают... точно не знаю.

«Дайте закурить, сигареты есть?» — говорит решительно и чуть-чуть с наглостью один из встреченных мальчуганов. Вася, немного затормозив и не оставляя руля, меланхолично поворачивает голову: «Вам простые или с марихуаной?»

Остолбневшее юное общество вскоре остается далеко позади. Мы взбираемся все выше. Въезжаем на плато. Выходим на открытую площадку, с которой, уф, какой вид! Первым, вырываясь вперед, решительно, с энергичным напором шагает Поженян, за ним, вторым номером, раскованно и несколько принужденно следует Аксенов. В организовавшуюся линейку встраиваемся и мы — добавочные.

Сложившаяся процессия почему-то остается в моей поздней памяти как вереница разнокалиберных фигур и напоминает картину Серова «Петр I», вероятно, по темпоритму волевого движения вверх их предводителя. Продвигаясь по зыбкой, бугристой поверхности, он должен увидеть с высоты предначертанное будущее заложенного им города.

Я с нетерпением оглядываю плато, поросшее вылинявшей травой. Но где же, где вожделенный памятник?

Многие захоронения, распластавшиеся по земле, почти стертые временем, представляют собой картину печальную — равнодушия, бесхозяйственности оставшихся в живых. Некоторые могилы еще как-то хранят

долженствующую им стать: красные звезды, прикрепленные к деревянным подставкам-основаниям, венчают памятники. Но ни один... не содержит нужной нам «поэтической» информации.

Поднявшийся ветерок бездушно раскачивает все, что плохо закреплено на этом Богом забытом месте упокоения. Дзинь, дзинь... Жалобный металлический звук привлекает внимание. На железном штыре раскачивается, мотаясь на ветру, и трепещет, как раненая птичка, проржавевшая дощечка. На ней с трудом прочитывается: «Тех, что погибли...»

Григорий Михайлович, потрясенный, внимательно вглядывается в буквы своего искаженного стихотворения. Куда девалась целая строка? И кто посмел так бездарно досочинить эту выстраданную боль военного лихолетья? Он нараспев повторяет *свой* текст, словно посвящает *свой* рекем павшим:

Тех, что погибли,  
считаю храбрее.  
Может, осколки их  
были острее?  
Может, к ним пули летели быстрее?!...

Дорога назад, в город, не такая уж радостная. Счастье поиска путешествия обернулось разочарованием. Но вневременная фраза Аксенова, уже осознававшего, наверное, свой «Остров Крым», осталась тогда в крымских горах и отозвалась дальним смеющимся эхом в один дождливый московский день. «Вам простые или с марихуаной?»

18 октября 2021 года

#### «ПЕРЕКИНЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧЕРЕЗ ЗАБОР...» (ОКУДЖАВА)

Смотрю в окно...  
Ночной туман окутал вечность.  
Ни зги,  
Ни повторения земных ошибок,  
Ни даже островка столпившихся за рекой домов-скелетов.  
Нет и реки,  
а только различим неясный абрис кружевных деревьев, сложившихся  
в офорт, едва намеченный сухой иглой.  
Другой туман в другое время окутывает проснувшуюся память...

Чудесное время — Гауя. Холодная стремительная речка омывает райскую сторонку — летний лагерь Дома ученых, словно особую, недоступную для вторжения страну, вовсе не советскую, переживающую последнее десятилетие перед взрывным 1991 годом.

Право проживания на воле, в простых туристских палатках среди чистого поля, с достойной справедливости строгостью — только для научных работников в привычной градации: от кандидатов до академиков. Есть и счастливые исключения — семьи Гердтов и Окуджавы — гауянские старожилы.

Мой вход в вольную коммуны ученых обеспечен диссертацией (по Герцену!) и вступлением на службу в Литературный музей. Это воспоминание врезается сюда не случайно, ибо с Гауи ведет дорога на Сивцев Вражек, где в Доме Герцена еще случится несколько неожиданных творческих свиданий с Булатом Окуджавой.

Квадратура зеленой поляны с подсветом желтых пижм и лиловых колокольцев. С трех сторон лес, с четвертой — холодная Гауя. Одна сторона цветущего поля под прикрытием мощных сосен — для небожителей. Здесь Окуджава и Гердт. Мы, зрители, словно в ложах, — в палатках по краю партера поляны. Вечереет. Молочный туман, как занавес, падает с неба. Выстроилась прямо-таки чеховская декорация. Огромный стол с самодельной люстрой, сооруженной Гердтами из какого-то брошенного колеса. Мерцают неясные блики. Мелькают тени, в которых едва различимы фигуры наших солагерников. Позвякивают стаканы, слышится смех, потом все затихает. Может быть, Зяма (так некоторым позволено его называть) читает своего любимого Пастернака.

В другом углу поляны, на «малой сцене», уже толпится народ, настраиваются гитары. Вы не поверите, но сейчас вы услышите любого из корифеев-бардов: Виктора Берковского или Сергея Никитина.

Днем поляна пустеет. Все отправляются на сборы: ягод и грибов здесь — море. Только в зелени поля сидит на низеньком кресле, слегка сутулясь, читая или размышляя о чем-то, Булат Шалвович Окуджава. Теперь, когда прохожу арбатский памятник, ловлю себя на мысли: вот, истинная поза роденовского мыслителя была бы идеальной для монумента Поэту.

Не успела еще рассказать вам, как я познакомилась с Окуджавой в августе 1979 года или, вернее, как мне посчастливилось нечаянно попасть в поле его зрения в нашем лагере, а уже берусь за историю о сказочном приключении, развернувшемся во дворе дома №27 по Сивцеву Вражку в самом конце перестройки.

Если вы подождете пару месяцев, то я соберу и другие впечатления, подтверждаемые немалым числом фотографий и дарственных надписей

Поэта, которые, несомненно, обнаружу в домашних семейных залежах, а пока проведу вас по территории, не менее волшебной, чем гауянская.

Старый арбатский внутренний дворик. Если повезет с весной — то ода-рю вас цветочным удовольствием: соберем букет из пестрых тюльпанов и по случаю вручим их поэту; если случится зимой, чтобы выполнить его удивительную просьбу, придется попотеть, преодолев непреодолимое — неубранные, слежавшиеся, посеревшие сугробы до небес. И все это — для того, чтобы вплотную подойти к потерявшему красочную девственность, обтерханному забору. Он как раз и отделяет музейный сад от другой недоступной территории — второго дома Герцена на бывшей не музейной усадьбе Ивана Яковлева — отца Александра Ивановича, теперь за номером 29, тоже по Сивцеву.

Большой дом, так и прозванный его давними обитателями, приютил множество фирмочек и организаций, среди которых в эти неясные годы для нас притягательна одна — редакция детского журнала «Колобок».

Это было звучащее чудо. Советское и российское литературно-музыкальное иллюстрированное издание для дошколят с приложением гибких грампластинок появилось в 1969 году как приложение к любимому дефицитному «Кругозору» (1964–1992), манящему множеством прежде недоступных публике аудиозаписей западных эстрадных исполнителей и наших не легитимизированных властью бардов.

Надо вам сказать, что «Колобок» с четвертьмиллионным тиражом, смело покотившийся как добавок к такому вожделенному изданию, сразу же был радостно принят и юной аудиторией, и ее классными авторами. Журнал-рассказчик должен был донести до детей поучительные, добрые истории, проводником которых стал сказочный персонаж, скажем, не слишком успешный и только до поры «уходивший» от своих коварных недругов. И тем не менее своим веселым оптимизмом не устающий нас удивлять.

(Сознаюсь, и мне удалось посотрудничать с «Колобком» в надежде перехитрить навалившееся безвременье восьмидесятых, но нечаянный этот опыт не стоит теперь выносить на публику.)

Так вот, однажды (было это в конце тех же восьмидесятых), в один из роскошных музейных вечеров, речь зашла о другой детской сказочке под неожиданным авторством нашего гостя.

«Прелестные приключения» впервые были опубликованы в Грузии в 1971 году. И хотя авторские рисунки не были там воспроизведены, но с видом на будущее указывалось, что придуманы они самим автором. Понравившаяся сказочка переводилась на разные языки, давно

вышла в нескольких странах, но российского издания так и не было. Понятно, что его появления на свет только ждало случая. Узнав, что «Колобок» находится за стеной нашего сада, Булат Шалвович, улыбувшись, проговорил: «Как-нибудь я попрошу вас перебросить мою рукопись через ваш забор».

Окуджава никогда не скрывал историю ее чудесного появления. В 1968 году, будучи в ялтинской командировке, в известном Доме творчества писателей (псевдоампирном дворце с колоннами, высоко возвысившемся над морем, где так легко творчески дышалось литераторам разных мастей), он посылал своему четырехлетнему сыну Буле письма с собственными рисунками. В них импровизационно развертывалась фантастическая история не менее фантастических существ — животных с весьма экзотическими именами, которыми верховодил добрый автор-волшебник, настоящий проводник-организатор «прелестных приключений». Всем добрым героям представлялась возможность проявить себя с самой лучшей стороны и мужественно преодолеть чудесные препятствия.

Крэг Кутенейский, «не какой-нибудь там простой Баран», привольно живший на Кутенейских холмах, пока уютно не устроился на верхотуре обычного шкафа, по-дружески был принят в компанию путешествующих и вынес героически все опаснейшие повороты приключений. Добрая Змея, отражавшая все поползновения страшных недругов, успешно потрудилась, прежде чем вернулась на свое теплое ложе — верхушку привычного абажура настольной лампы.

И Лев, оказавшийся фаянсовым, сидячим, просто устроившимся на книжной полке, и Змея, «не какая-нибудь там обыкновенная, а резиновая», так и остались с нашим героем в его доме после успешного завершения истории. Наверное, тогда и появился шанс увидеть некоторые глиняные фигурки в Музее, но, в общем, теперь за это не поручусь.

В сказке задавались загадки и ненавязчиво внушались добрые правила общечеловеческого поведения. Благородные, независимые принципы гуманного сосуществования в обществе, постоянно ущемлявшем права индивидуума, вступали в противоречие с советской реальностью. Положительные герои что хотели, то и думали, что хотели, то и делали, живя вместе и помогая друг другу. А со всякими там приставучими «КаруДами» (переверните слово) и ужасными «страшидлами» (выдуманное Булатом слово «страшидло» могло напугать) и вовсе надо было быть всегда начеку.



Этот «Невыносимый Приставучий Каруд» вступал в показательный диалог с «Доброй Змеей»:

Он говорит: Что делаешь?

Я говорю: Что хочу, то и делаю.

Он говорит: А что хочешь?

Я говорю: А что сама хочу, то и хочу.

Он говорит: Нельзя хотеть, что сама хочешь, а надо хотеть, что все хотят.

Я говорю: Ссссссс... Хочу, что хочу.

Он говорит: Нельзя! Так не бывает.

Я говорю: Бывает... Ссссссс...

Герои Окуджавы декларировали, что не желали жить как все и думать как все.

Однажды Булат Шалвович показал эти свои сказочные письма Белле Ахмадулиной, и она сказала: «Да это же готовая повесть!» Так родилась эта сказка-притча.

На памяти ее автора, несомненно, были детские книжки о необитаемых островах, морских бурях и жизни животных. Знатоки подобной очень любимой в советском детстве литературы даже усматривали некоторое влияние писателя, натуралиста и художника-гуманиста Эрнеста Сетона-Томпсона и его «Рассказов о животных», где на Голдерских холмах и в других местностях обширной Канады развертывалась неотвратимая битва жизни за существование, где даже ее ценой обреталась свобода.

Свое намерение переправить рукопись в «Колобок» Окуджава вскоре выполнил. Пачка листов, исписанных его круглым каллиграфическим почерком, была доставлена с незабвенной, «приклеенной» к ним просьбой: «Перекиньте, пожалуйста, через забор...»

Доставила я в журнал драгоценную рукопись в полной целости и сохранности, но зашла в бывший дом Герцена отнюдь не с черного хода. Прошла по широкой парадной лестнице, чудом оставшейся от прошедших, затуманенных эпох.

«Колобок» оказался прытким, ушедшим от долгого ожидания и цензуры. В пяти номерах журнала №3–7 за 1989 год на радость детворе и взрослым вышли «Прелестные приключения», но книжки с собственными рисунками Окуджава так и не дождался.

За публикацией «Колобка» последовали и другие издания. Когда теперь держу в руках подаренную мне автором яркую книжку 1993 года издания (с рисунками художницы И. Волковой), согласитесь, сегодня как нельзя пришедшуюся ко двору, не могу не улыбнуться, вспомнив эту мобильную фразу классика: «Перекиньте, пожалуйста, через забор...»

*1 ноября 2021, туман*

«ЖЕНЯ, ТЫ ЗАБЫЛ СВОЮ „ЮНОСТЬ“ В ШАШЛЫЧНОЙ...» (ЕВТУШЕНКО)

Смотрю в окно...

Там поселилась пустота.

Суровой волной река играет.

И вместо гор на горизонте, где, кажется, и небо закрыто на замок,  
— неясное скопление сцепившихся гигантов.

Исчезли краски редких островков, где прежде бушевала зелень.

И только белые кареты в ночи несутся, теряя фиолетовую тень.

Другое дело — моря ширь и горы, стремящиеся к небу.

И молодость, когда ты беззаботен и здоров.

И страха нет.

И радость бытия.

Чего же лучше?

А лучше было в Коктебеле. Разве сравнить с унылой, серой Москвой конца 50-х. В те годы я многому научилась, стала намного свободнее, попыталась войти, хоть и с трудом, в раскованное человеческое сообщество.

Детские страхи, предначертанное одиночество, прочно поселившееся со времен войны, понемногу выветривались теплым потоком ветра начавшихся перемен.

Коктебель, а вернее, советское его название — Планерское (вдохновенное чьей-то легендарной затеей с символической шляпой Волошина, повисшей в аэродинамическом воздушном потоке), утвердилось в реальности на удобном для планеризма плато. И все же не Планерское — скромный «поселок городского типа», а Коктебель, возделенный Коктебель, не уступающий свое зачеркнутое прошлое, стал своеобразной Меккой, центром паломничества для очнувшейся после XX съезда разборчивой интеллигенции.

Живешь не по подсказке, а, скажем просто, — в сказке; смотришь на синее море, на воображаемый профиль поэта, нависший мощной лавиной-горой над древней Киммерией. А под ногами у тебя не каменная твердь, а рассыпанные драгоценности: «куриный бог» — поможет

в счастье (если обнаружишь дырку в гладком камешке), а сердолик — в недополученном богатстве. А если повезет, выйдя невзначай на берег, увидишь шхуну с алыми парусами, сооруженную к ожидаемым съемкам кинофильма.

Вступай в морскую глубину хоть нагишом (наверное, единственное в СССР вполне официальное общество нудистов), штурмуй дальние бухты, спрятавшиеся между скал, освобождайся от нахлынувших забот, беги от цепких обязательств. Твори и веселись, рисуй, гуляй, пей вино и утоли свои печали. Вот истинное место для художников, поэтов, мечтателей, бездельников, искателей чудес и приключений.

Оно так и было в ярком творческом «кооперативе», называемом Дом творчества или «Будинок письменников». Кто здесь только не побывал. Перечислять всех внесших свой вклад в кормушку советской литературы — тех, кто обессмертил легендарное место незабвенными «блякуплетами», кажется нам бессмысленным. Возьмемся за внешний, лишь один бытовой набросок, связанный с этим временем, и выделим лишь одну выдающуюся личность, случаем попавшую на карандаш.

К географическому положению и внешнему описанию места действия добавим Дом Волошина (до Музея еще далеко) — центр главного притяжения, где (знают все) кипела некогда яркая, творческая, любовно соединяющая и трагически разводящая, непредсказуемая жизнь вокруг несравненного затейника, гениального выдумщика, поэта и художника Максимилиана Александровича. Сказочный посланник из Серебряного века возглавлял это карнавальное кружение, это сообщество «ордена оборотов», не остановленное даже революционной разрухой.

В доме Волошина, у его вдовы Марии Степановны, урожденной Заболотской, беззаветной хранительницы бесценного наследия до 1972 года, мы и встретились с Евгением Александровичем Евтушенко. Нет, не познакомились, он к этому времени был слишком знаменит, начал печататься в «Юности» (а это уж уровень почти недостижимый), чтобы я позволила себе даже заговорить с ним. Тем страннее для меня была та фраза, которая невольно вырвалась у меня однажды вслед уходящему поэту. И случилось это в особом месте действия, так не поэтически названном шашлычной, хотя в топографии описываемой местности заведение считалось весьма притягательной точкой. Где, как не в шашлычной с нехитрым набором вин-бормотух и приложенных к ним дешевых закусок, можно было отвести душу. Сюда часто устремлялись после импровизированных чтений и вечеров, устраиваемых Марией Степановной Волошиной в ее доме. Главную роль играл Евтушенко. Звезда

поэта разгоралась. Вместе с обществом, разбуженным оттепелью, надо было успеть все осознать, постигнуть прошлое, защитить преследуемое настоящее и двинуться дальше. «Пришли иные времена».

Он был юн в свои 27, хорош собой, не по-советски элегантен. У меня, к сожалению, затерялись любительские фотографии этого времени, где Евтушенко, высокий, стройный, на фоне моря, прислонившись к какой-то скале, стоит раскованно и даже как-то небрежно: он в шортах и с распахнутым воротом мокрой рубашки.

За Евтушенко тянулась шлея восторженно-критических слухов. Самый молодой — в 52 году был принят в Союз писателей. Самый молодой, а уже такой знаменитый своим общественным поведением: исключен из Литературного института за смелую защиту антисоветского романа Дудинцева «Не хлебом единым». Самый, самый...

Он только бронзует от коктебельского солнца. Еще не автор 19 поэм и множества сборников, не носитель всяческих премий, не друг и поклонник великих, не яблоко раздора между разнополярными крыльями интеллигенции. Он не трибун с завидным тщеславием — быть больше поэта.

Он нравится, он известен своей чувственной лирикой, освоенной коктебельскими пришельцами. На перепев его признание: «Со мною вот что происходит...» Он — непревзойденный чтец. Никогда прежде не слышала, кто бы лучше и доступнее читал чужие стихи. И тут я свидетель.

Приглашенные Марией Степановной и примкнувшие к ним устраивались на деревянной лестнице, ведущей на второй этаж своеобразного здания вполне индивидуальной архитектуры, возведенного в пустынной, «светлой земле» не без участия самого жильца. Что-то наподобие таинственного корабля, только с высоченными окнами и с прилипшими к стенам террасами-палубами (кстати, одна из них с двумя небольшими комнатками для отдыхающих официально отходила к Литфонду).

Порой приглашенным на чтение позволялось проникнуть в глубь дома, и тогда мы располагались в кабинете или в сохраненной в целости мастерской поэта на фоне почитаемой им символической скульптуры — головы древнеегипетской царицы Таиах.

Пользуясь расположением хозяйки дома (в прежний ранневесенний приезд в безлюдный Коктебель мне даже было позволено на ночь остаться в кабинете Волошина), я могла даже воспользоваться библиотекой поэта: знакомиться с неизвестными мне стихами, доставать книги — часто с дарственными надписями.

В то жаркое лето 59 года, только закончив институт, я вновь погрузилась в незабываемую ауру Коктебеля, присоединившись к талантливой компании молодых архитекторов, решавших публично и уверенно проблемы строительства Нового города (НЭР). Были там общие знакомые, некоторых теперь, увы, давно недостает. Носились по берегу, разбегались по горным тропам, дурачились под неутрахающие звуки банджо, даже вечерами вновь погружались-кидались в теплое море, громко декламируя гекзаметры из поэзии древних латинян, этих затверженных текстов, часто навязанных при обучении в отдельных школах, как, например, в моей — «двадцатьдевятюшке на Зубке».

Не скрою, шашлычная была самой притягательной приманкой. Там побывали все и не раз. В один из вечеров появился сам Евгений Александрович, прямо направившийся к знакомым, миновав нашу компанию. Он что-то увлеченно рассказывал заинтересованным завсегдаем, видно, литфондовским, держа в руках то ли свернутый журнальчик, то ли тоненькую книжку, а когда уходил, по дороге положил небрежно на соседний пустой стол, возможно, оставил для других заинтересованных читателей. На обложке крупными буквами легко прочиталось: «ЮНОСТЬ». Я, озаботившись невольной потерей, вполне бессознательно, только и могла прокричать ему вслед: «Женя, ты забыл свою „Юность“ в шашлычной...» Но он не услышал.

Чтобы соблюсти историческую достоверность и точность, я выяснила, что печататься в «Юности» Евгений Евтушенко действительно начал с января 1959 года, когда вступил на путь сотрудничества с престижнейшим изданием своим небольшим стихотворением «Это наша дорога!». Февральский номер того же года напечатал рассказ «Четвертая Мещанская». Была ли это его первая публикация в «Юности», куда допускалась и другая талантливая молодежь? Или же в журнале печатался кто-то из вырвавшихся вперед литературных конкурентов поэта? Не исключаю, вспоминая его небрежный жест.

«КАК, ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ МУЗЕЙ DES ORGUES DE BARBARIE?» (СИНЯВСКИЕ)

Смотрю в окно...

Мои знакомцы-великаны стоят стеной —

сурово, плотно, безнадежно,  
как будто отрезая мою оставшуюся жизнь от мира.

Стоп... Время закрывается.

Как часовые, две вытянутые к небу башни недостроя,

не нарушающие пределы государства,  
хранят спокойствие закрывшихся границ.  
И странно вспоминать мои прогулки по Парижу,  
когда теперь не высунешь и носа  
из-за боязни или непогоды.  
Ну, хватит пялиться в окно.  
Ложись!  
Спокойной ночи.

Внезапно промелькнула мысль о книге — «Спокойной ночи». В шкафу без должного внимания стоит уж точно тридцать лет красивый том, одетый в бордовую одежду тканевого переплета. На титуле — заявленный двойник Синявского, которого он именует Абрамом Терцем. Сюжет, увы, никак не устаревает. «Тюремный» мир вновь открывает двери.

Другая книжечка под стать — «Прогулки с Пушкиным», где автор-каторжанин на обложке. В тюремной тоге, в валенках, галантно вовлечен в свободный разговор с поэтом. Невольный собеседник изображен привычно — в бакенбардах и в цилиндре, но с отнятой свободой — в зоне, очерченной колючей проволокой.

А сколько надписей на титульном листе! Прочтем потом. Слегка коснемся этой прошлой, странной жизни, внезапно на мгновение соприкоснувшейся с моей. А местом действия выберем Париж, расцветивший историю и пейзажем улиц, и голосом давным-давно охрипнувших шарманок.

О Франции я не могла и мечтать. Жизнь моя шла наперекосяк, стирая важные сегменты человеческого счастья, только иногда скупой шепоткой выдавая его как награду за долготерпение. В голову лезли наивные причитания: «Ты не увидишь ни площадей, ни парков, // Ни переулков, улиц и бульваров, // Ты не увидишь ни соборов старых, // Ни Сакре-Кёр, ни триумфальных арок. // Ты не увидишь Нотр-Дам и Сену // И не узнаешь истинную цену // Монмартру, Этуаль и Элизе, // Пойдешь ты вспать, не по своей стезе...»

Все попытки преодолеть железную канцелярию, где вершились дела и о моем «перелете» через рубеж, кончались полным крахом. Оставался Париж воображаемый, книжный, город моих сновидений, в повторявшемся весьма странном сюжете: билетная касса в едва освещенном подвале, таящем замаскированную лазейку в Париж. Однако билеты туда давно распроданы.

Но вот свершилось. Сон обернулся явью. Я — в Париже. Сразу замечу: не в командировке, а в гостях по случившемуся приглашению. На дворе — 90 год. Нравы смягчились. Дохнуло либерализмом. Открывались

границы и для «невъездных». Одержимая желанием собрать для музея — «все по Герцену», что мне так счастливо удавалось и при моем открытии Америки в 87-м, и при вхождении в щепетильный дружеский круг швейцарских потомков писателя, здесь, во французской столице, натолкнулось на трагическое препятствие.

Звоню по запасенному в Москве телефону именитого профессора Пастеровского института, большого знатока и собирателя герценовского наследия, праправнука писателя г-на Ноэля Риста. Холодный голос на том конце провода сообщает: «Профессор скончался, и по случаю траура никого не принимают».

Что делать... Праздный вопрос. Удовольствие быть во Франции, даже просто — туристом, обретать сокровища великих музеев многое открывает, тем более что в Москве я случайно обзавелась другим телефоном и ярким адресом — Fontenay-aux-Roses.

Счастливый случай, причем накануне отъезда в Париж, когда в кармане у тебя — паспорт и виза, свел меня в Литературном музее с Марией Васильевной Розановой. Она пригласила меня, если буду в Париже, заехать в их недалекий парижский пригород, где они тогда жили с Синявским.

С предысторией ее легендарной жизни я, конечно, была знакома. В какой-то мере в 70-х годах мы были коллегами по Литмузею. Искусствовед по образованию, литератор по призванию, автор популярнейшего среди либеральной художественной интеллигенции журнала «Декоративное искусство» М. В., что особенно поразительно, в самые трудные годы приобрела профессию модного ювелира: многие жаждали обзавестись сотворенными ею невероятными украшениями. Женщина удивительная во всех отношениях, она и тогда умела быть исключением.

Я хорошо помнила, что Москва середины 60-х была полна слухами о сочинениях неизвестного автора, обозначавшего себя на обложках зарубежных изданий как Абрам Терц. Полиция не дремала, и вскоре писатель, литературовед и ведущий критик «Нового мира» Андрей Синявский был арестован. Газеты пестрели ядовитыми заголовками, клеймками, кричащими, яростно требующими защитить от клеветнических опусов и публикаций, порочащих советский народ и т. п., и т. п. Были и те немногие воспротивившиеся этому наглому шельмованию, отважно подписывающие письма в защиту неправедно осужденных. Начался двухлетний процесс над «ярыми антисоветчиками» — Синявским и Даниэлем. Суд и долгая ссылка стали историческим знаменем застоино-брежневской эпохи, живо заморозившей хрущевскую оттепель.

При смене правления что-то в государственной машине сломалось, заело, и Андрей Донатович Синявский был отпущен, освобожден. Эта свобода обозначилась только одним — неизбежной эмиграцией. В 1973 году Розанова и Синявский покинули СССР, и тогда казалось, что навсегда.

Мария Васильевна Розанова была из разряда «жен декабристов». Не просто жена-соратница, а подруга-воительница. Многие восхищались ее нестигаемым бесстрашием, и не только в период семилетнего заключения ее мужа-«каторжанина». Конечно, поговаривали о ее суровом, бескомпромиссном, даже прямолинейном, экстравагантном характере — говорить правду в глаза всякому без разбору...

Ко мне Мария Васильевна отнеслась крайне участливо. Я, хоть и с опаской, воспользовалась ее приглашением.

Вот туда, в Fontenay-aux-Roses, маленький городок предместья еще не досмотренного, недопережитого Парижа в километрах 8–9 от центра сладостной столицы, я и устремилась.

Улица Boris Vildé (носящая имя погибшего героя Сопротивления, возможно, даже с русскими корнями) привела меня к дому №8. Небольшой особнячок, кажется двухэтажный, легко выделялся среди прочих строений: в нем ощущалась какая-то «русскость». Откроешь калитку, войдешь в пожухлый палисадник, не совсем прибранный по сезону, минуешь арку из сплетшихся веток, и сразу — ступеньки и дверь. Нажмешь на звонок, и тут — вы в настоящем русском доме.

Прихожей служила довольно обширная комната, где стоял старинный амширный диван из красного дерева, наподобие тех, что еще сохраняли коренные москвичи, несмотря на массовую миграцию в малогабаритные хрущобы, где старому массивному «хламу», вроде трехстворчатых шкафов до небес и мощных павловских буфетов со шторками, просто не было места.

Бросились в глаза многоцветные прялки и прочие предметы крестьянского быта. Русское декоративно-прикладное искусство в 60-е годы вошло в большую моду, им начали всерьез заниматься не только искусствоведы. И, конечно, как поветрие времени, составлялись коллекции старых икон, к счастью избежавших послереволюционного истребления. Их тоже в доме было предостаточно. Понятно, что приоритет отдавался книгам: дом был заполнен полками и стеллажами.

Преодолевая волнение (как встретят? и не слишком ли самонадеянно появляться в таком доме?), я оглядывалась вокруг. Симпатичная такса вилась возле моих ног, спокойно помахивая хвостиком, тем выражая,



наверное, всяческое участие. «Она тоже приехала из Москвы, по просьбе парижских знакомых», — пояснила Мария Васильевна.

По хорошей русской традиции сразу не занимать посетителя разговорами меня, одуревшую от парижского марш-броска в пригородную неизвестность, сразу же пригласили к столу. Синявский не спустился, беседовал наверху в своем кабинете с корреспондентом какой-то важной газеты.

Стол был накрыт в узкой длинной комнате, очевидно служившей столовой. Хозяйка дома самолично принесла из кухни таганок с кислой тушеной капустой и блюдо с дымящейся свиной рулькой — кушанье отнюдь не французское, но наполнившее комнату таким сладостным духом вожденной еды, что голова у меня пошла кругом.

Слово за слово — я выговорилась о своей собирательской работе, о желании получить для литературного музея книги и журналы. Новое время комплектовало запрещенную литературу, еще недавно прочно замурованную в спецхранах.

После нашего застолья сверху спустился Синявский. Среднего роста, в мешковатом костюме, его нельзя было не узнать: растиражированные портреты в разных изданиях так и представляли классического профессора с основательной бородой, в очках и с непрременной трубкой в зубах.

«Андрей, — обратилась Мария Васильевна к мужу, — тут Ирена Александровна из Москвы хочет получить твои книги». Немедля он достал с полки пару томиков и принялся писать. На книге Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным», так осмеянной, оболганной и оскорбленной в легальной коммунистической прессе 60–70-х, появилась дарственная надпись: «Милой Елене Александровне — эту самую мою страшную и самую добрую книжку. 18.XII».

Мария Васильевна не оставила мужа без контроля. Прочитав им написанное, красными чернилами твердо добавила звездочку как свой постскрипtum: «P. S. Синявский — чудака, курит табак... и т. д. И, конечно, все имена всегда путает. Не ЕЛЕНЕ, а ИРЕНЕ. Вот = М. В.»

Надо вам сказать, что только в Москве я узнала о книге, выросшей из писем Синявского к жене. Розанова отправила мужу в Дубравлаг известный том Вересаева «Пушкин в жизни», «чтоб он там не помер от скуки». Прочитав очередной отрывок и выходя на положенную экаму прогулку, Андрей Донатович мысленно сочинял будущее письмо Марии Васильевне. Из этих тюремных посланий, бывших своеобразным объяснением в любви, уже на воле, во Франции, сложилась книга.

Эта веселая (на памяти — известная формула Блока: «...веселое имя: Пушкин») и во многом провокационная книга, так раздразившая современников, полная искренней и неподдельной любви к поэту, заканчивалась словами: «Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно. 1966–1968. *Дубравлаг*».

Вторая книга — роман «Спокойной ночи», как известно, также выросшая из переписки эпохи Гулага, включала события ареста Синявского, судебного процесса, тюрьмы. В ней слышались и отзвуки споров, воспоминаний о некогда свободном, но страшном былом.

Любовь Розановой к Синявскому растворилась в 127 письмах, которыми они обменивались в течение семи лет между волей и неволей вынужденного заключения. Фантастические подробности романа из жизни автора тем не менее не теряли своей художественной достоверности.

Вторая книга с подписью «Милой Елене Александровне — с пожеланием доброго утра в делах и начинаниях. Абрам Терц. 18.XII.90» тоже подверглась домашней цензуре, не оставшись без веселого комментария М. В. После слова «Елене» появилась такая же красная звездочка, которую ставят обычно как примечание или сноску в академических и прочих изданиях. За ответной звездочкой последовал текст Марии Васильевны:

Из анекдотов о Синявском:

Однажды, на одном званом ужине после конференции в библиотеке Конгресса США, к Синявскому подошел директор Библиотеки профессор Биллингтон и начал говорить любезности.

— Спасибо, спасибо, — сказал Синявский, — я тоже хотел сказать, как мне понравился ваш доклад!!!

— Спасибо, господин Синявский, на добром слове, но я не выступал...

Как всегда, Синявский всё на свете перепутал: не ЕЛЕНЕ, а ИРЕНЕ.

Бедная жена рассеянного профессора М. В.

Передав мне рукотворные дары от Абрама Терца, который словно растворился, оставив легкий след от раскуренной трубки, М. В. увлекла меня в ближайшую комнату. Это была настоящая мини-типография. Именно здесь печатался знаменитый «Синтаксис» (1978–2001) — первый авторский журнал, выходявший с вольного станка, приобретенного самолично Марией Васильевной. Диссидентское издание публицистики и критики было известно в определенных литературных кругах своей острой полемикой с другими журналами русской эмиграции, в том

числе с «Континентом» В. Максимова. Но тогда, конечно, я этого не знала. В России доперестроечной поры «Синтаксис» нес ощутимую угрозу всякому к нему причастному.

Мне было выделено для музея с десятков разных номеров. Я их сложила в большую сумку, даже глазом не моргнув.

Молодой человек приятной наружности сосредоточенно работал за станком. «Это наш сотрудник, — пояснила М. В. — Мне теперь уж не по силам справиться одной». Ей действительно пришлось пройти весь путь основанного с Синявским издательства — от автора, редактора, корректора, типографа, вплоть до наборщика, стоящего у типографского станка.

Наступило время прощания, моя нелегкая поклажа была упакована, и М. В. старалась наметить путь моего дальнейшего пребывания в столице. Я вдруг посетовала, что никак не могу совместить воображаемый город с реальным. Мария Васильевна резко обрезала меня: «Да никогда и не узнаешь его, если не отправишься в музей „Орг дэ барбари“». В воздухе разлилось мое недоумение, ибо я не только не подозревала о существовании подобного чуда, но и больше того — была словно парализована произнесенным ею: «Как, вы не знаете музей *Des Orgues de barbarie?*»

Немедленно была снята ксерокопия с нужного района Парижа, где жирной точкой в кружке Мария Васильевна обозначила место будущего моего чудесного посещения.

«Варварские органы, варварские органы» — звучало в моей голове, пока молодой наборщик с любезной подачи М. В. не довел меня до вокзала. Опустил «тике» в первый попавшийся турникет и тут же исчез. Я оказалась одна на пустой платформе. Увы, на нее должны пребывать поезда, устремлявшиеся вовсе не в столицу.

Лишних денег у меня не было. А если б и были, не лишаться же других парижских соблазнов. К тому же, новое обязательство, требующее затрат, и вопрос, звучащий почти упреком: «Как, вы не были... как, вы не знаете...»

Вокзальная клетка, в которой по неведению я оказалась, словно захлопнулась, закрывая все входы и выходы на другую сторону пути. «Выхода нет» — вспомнила я привычно московский мем, прижившийся на железной дороге и в метро.

Нарушая все правила общественного поведения, а возможно, и законы чужой страны, я безрассудно, «по-русски» добежала до конца платформы, спрыгнула, вызываяще перешла через стальные рельсы

и оказалась на нужной мне стороне. Громкий голос ниоткуда оповестил, что поезд на Париж прибывает. Вскоре я была в столице.

Сжимая в руке бумажку-ксерокопию с расчерченным планом улиц и площадей, я устремилась на поиски.

— Пожалуйста, вы не знаете, как мне добраться до...» — обращалась я ко встречным.

— Музей? ОРГ барбар? Нет, не слышали.

— ОРГ барбар? Что это?

Тяжелая поклажа нещадно давила на плечи. Дьявольские органы в голове не скупилась на устрашающие мелодии.

Каким-то чудом возник вдруг одноэтажный павильон. Двери его, выходящие прямо на тротуар, были распахнуты. В глубине зала громоздились какие-то монстры, словно допотопные чудища, они оглашали окрестности дьявольскими трелями и завываниями. Механические пианино бурно позвякивали пляшущими клавишами, шарманки всех форм, расцветок и размеров натужно пели, играли, выдавливая из себя залежавшиеся, заржавевшие песенки... Воображаемый варварский хор, вторгшийся в новые впечатления этого дня, значительно добавлял эмоций, которые из-за нервного напряжения и растущей усталости не давали сил переступить порог.

Да был ли это вообще настоящий музей? Может быть, ярмарочная однодневка? Не знаю. Конечно, потом сокрушалась, что совет выполнен не был. Да простит меня Мария Васильевна. Тем не менее впечатление от доброго визита в дом Синявских на прекрасной улице «фонтанов» и «роз» осталось навсегда, да такое ОРГомное.

P. S. Через десять лет судьба вновь свела меня с Марией Васильевой в Музее на Сивцевом Вражке. Я напомнила ей о своем давнем визите в Fontenay-aux-Roses и попросила вновь подписать подаренные мне книги. К заглавию на титульном листе «*Прогулки с Пушкиным*» прибавилось: «*по Сивцеву Вражку...*» — с изящной веточкой и датой «16.V.01»

К надписям, так красочно расписавшим титульный лист романа «Спокойной ночи» в 1991 году, через 10 лет присоединился подлинный набросок из тех рисунков-символов в «тюремных» письмах Розановой к Синявскому, которые стали затем иллюстрациями к этой книге.

Легким росчерком пера М.В. поместила на форзаце моего тома прекрасную розу, а большой точкой в кружке разделила фамилию Розанова на два слога: «Roza. Nova. 16.V.01».

Это точка в кружке, словно объект на местности, мною не открытой, сохранилась на старой ксерокопии, врученной мне тогда в Fontenay-aux-Roses, и многое напонила...

Нынешние мои поиски на просторах Интернета к успеху не привели. Ни малейшего следа пропавшего музея: *Musée Des Orgues de barbarie* среди прочих его парижских собратьев числом 136 в списках не значился.

#### ВНУЧОК ПОД БОЧОК, ИЛИ ДУХ ПУТЕШЕСТВИЙ (ЛИБЕДИНСКАЯ)

Смотрю в окно.

Сей пейзаж, наверно, вам наскучил:

знакомые гиганты за рекой слотились в кучу, чтобы не замерзнуть.

Тревожные кареты с индексом оз во тьму несутся.

Не думай, не смотри, не бойся.

Что будет, то наступит.

Без всяких человеческих преград ворвется Новый год.

И никаким указом его не запретить.

Совсем забыла:

Еще мазок к картине —

мерцающие мертвым светом аэробусы,

взрывающие старые порядки силы тяги,

стоят на старте близ вокзала, символизируя прогресс.

А я в уютном прошлом:

отвязный драндулет,

гранц не разбирая,

несется по дорогом мира.

Любите ли вы путешествовать? Что за вопрос.

Нашла среди старых бумаг на выброс пожухлый листок — программу грандиозного путешествия, предпринятого в разгар девяностых, когда недоступный Париж мною слегка освоен, а границы мира настолько раздвинулись, что не грех очертя голову броситься в новую авантюру.

Изучив многочисленные рекламные газеты, которыми начинала пестреть наша неожиданно нагрянувшая капиталистическая жизнь (судя по рекламе, сладкая), я пришла к выводу, что невероятную трехнедельную Одиссею — внутри «всей Франции» и вокруг нее — не стоит упускать из виду. Успеть во что бы то ни стало — и все сразу, пока тяжелый занавес вновь не закрылся.

Реклама заманивала, втаскивала в глубь Европы: «Уникальная поездка по городам: Варшава — Кельн — Брюссель — Париж — Версаль — Фонтенбло — Орлеан — Анжер — Бордо — Каркассон — Авиньон — Оранж —

Арль — Канн — Ницца — Монако — Монте-Карло — Лион — Дижон — Нанси — Мец — Люксембург».

Сверкающие в недоступной дали города не скупилась на свои экскурсионные посылы (заманки), приоткрывая прищельцам свои двери днем и ночью: Брюссель, музей фламандской живописи, ночной и дневной Париж, Лувр, Музей импрессионистов, Собор Парижской Богоматери, Елисейские Поля, Монмартр, Сакре-Кёр, квартал Ля Дефанс; обзорные экскурсии, звездные гостиницы, завтраки с неизвестными нам пока воздушными круассанами, «умеренная» стоимость, о которой даже не хотелось думать.

Мое нетерпение разделила Лидия Борисовна Либединская, придававшая уверенность в возможности осуществления почти нереального вояжа. Европа — за 22 дня!

Ночные воспоминания налетали, кружились в сбивчивых темпах прожитого времени. И разлетались, не в силах охватить целое, главное...

Слишком невероятна личность этой необычайной женщины. Слишком велика ее восхищенная открытость миру. Слишком безграничен дар ее деятельной любви...

Уж сколько говорилось, писалось и еще напишут об открытом, щедром характере Лидии Либединской (урожденной Толстой), о человеке-празднике, объединяющем разных людей, которым она щедро дарила свою приязнь, любовь и дружбу. Радость жизни, которую буквально она излучала, удовольствие, казалось бы, от самых незначительных, обыденных вещей влекли к ней бесконечно.

Скажешь: «Человек-легенда» — и не преувеличишь.

Всех Лидия Борисовна знала, и все знали ее. Столичная культурная жизнь (скажу, может, немножко преувеличив) проходила нередко с оглядкой на нее: «А что будет говорить графиня Лидия Толстая?»

Ее любовь проявлялась не только в помощи, поддержке, в защите от чего-то и кого-то, не только в восстановлении справедливости... Любовь выражалась в активных привязанностях к городу или стране, к отдельным памятникам и домам, в стремлении их защитить, сохранить.

Мне повезло. Судьбе было угодно нас дружески соединить.

Сначала робко, несмело, да и как уютной послевоенной ученице в форменном платье с заштопанными локотками, привыкшей к коммуналке, еще не пережившей страха эвакуации, дикарке, оказавшейся вдруг на сказочной переделкинской даче, где живут настоящие писатели, быть замеченной и рассчитывать на внимание?..

Подгоняло время, сочинявшее общие сюжеты.

Оставим за его пределами мое «взросление с Герценом», где восторженная его почитательница Лидия Либединская — знаток несравненных мемуаров «Былое и думы» и сама писательница-мемуаристка, колдовавшая вокруг «Зеленой лампы» с целым сонмом талантливых современников, — навсегда проложила дорожку к Музею своего кумира на Сивцевом Вражке.

Осколки этих воспоминаний не раз собирались мной воедино, да и «нанизывались» по рецепту Герцена, подобно «картинкам из мозаики в итальянских браслетах», где все относится к одному сюжету, но «держится вместе только оправой и колечками».

Одно из «колечек»-воспоминаний, покрывшихся патиной времени, стоило по случаю извлечь. Слишком велик был соблазн вновь проделать с Лидией Борисовной вольный, головокружительный полет в европейском пространстве.

Она часто повторяла: «Пока ходишь — надо ездить». И до самого конца не изменяла этому своему девизу.

Дух путешествий поселился в ней с самого рождения, когда поэт Вячеслав Иванов бросил в купель своей крестницы горстку серебряных монет, оставшихся от его дальних странствий: «Уж она-то будет много путешествовать». И не ошибся.

Когда необъятный мир открылся, им стоило воспользоваться, как говорится, на всю катушку.

И вот — мы на перроне Белорусского вокзала — пленники тесной группки-компании наших случайных попутчиков, навязанных нам обстоятельствами. Все, несомненно, счастливы.

Поезд катится, мчится до пограничного Белостока. Ночь застает нас в польском Лагове (Лагуве), считай, за границей. Маленький городок, переживший вражеские нашествия и древние разделы, за историческое своеволие еще в XIX веке пониженный до села, таким и остается.

Кажется, в единственном памятнике, старинном замке, нас и разместили, нет, не по комнатам, а скорее по камерам. Лидии Борисовне досталась пыточная, где по стенам были развешены... да, те самые орудия для истязания и устрашения непокорных: железные щипцы, массивные цепи, невообразимо пугающие рогатки и прочие приспособления старозаветной (?) пенитенциарной системы. Ночное испытание, как и прочие подготовленные нам изменчивой экскурсионной фортуной, вызывали у нее только смех.

Утром на стареньком «Форде» под управлением двух незадачливых польских шоферов все отправляются в путь. И главным героем, как

в классике, становится наш благословенный, дышащий на ладан автобус, не отказавшийся помериться силами с новейшими представителями мирового автомобилестроения. Трудно предположить, сколько раз старину перекупали, перекрашивали, сколько неверных рук прикасалось к его рулю.

Свободная Европа, только что открывшая границы между странами, сразу спутала планы наших навигаторов: то ли они заснули, то ли непомерно подкрепились, но нас занесло, и вместо плановой Германии мы оказались в непредвиденной Голландии. Маршрут был полностью изменен.

Группа, весьма разноплеменная, мало организованная и подверженная частью беспросышному пьянству, усиленно роптала, не позволяя ущемить права путешественников. Но справедливости ради заметим, что все сладкие обещания экскурсбюро были соблюдены и величественный Кельн со своим готическим собором завершал наш стремительный бег по Европам, когда, увы, сил почти не оставалось.

Для Л. Б. было не так уж просто принять заданный темп: болели ноги, давало знать о себе сердце. Но никогда ни малейшей жалобы. Веселая легкость, с которой она жила, прибавляла градус к хорошему настроению.

Сейчас трудно передать, какой восторг вызывали у нас недавно отодвинутые в сторону шлагбаумы, скинутые пограничные заграждения... Объединенная Европа — поезжай куда хочешь! Нам улыбалась свобода почти на три недели. Нас ждал Париж. Нас ждала Франция.

Интерьер салона нашей «Антилопы-Гну», куда втиснулось человек шестнадцать, при косметическом ремонте был мало-мальски приведен в порядок. Но только на первый взгляд.

Двойные кресла с пожухлой обивкой и согнутыми металлическими подлокотниками с трудом вмещали образовавшиеся пары: помимо двух заинтересованных подружек-пенсионерок, добивающихся четкости в исполнении планов поездки и соблюдения прав экскурсантов, помню еще двух приятных молодоженов, бросившихся в свадебное путешествие, вопреки навязанному коллективу. А в нем, как часто случается, не обошлось без назойливого бузотера. Так назовем молодого смазливового баламута, предавшегося беспробудному веселью, подогреваемому заморским шампанским. Брызги-салюты из его стреляющих бутылок разлетались по всему новоявленному ковчегу.



Особенно доставалось Лидии Борисовне, с трудом устроившейся на бракованном сиденье, постоянно сползавшем вниз. Вероятно, проснувшееся тщеславие юноши не могло быть удовлетворено, пока непонятная, холодно-безразличная к его художествам дама не обратит на него внимания.

С наших неудобных мест, чтобы как-то размять ноги, мы постоянно перемещались на бесхозный диванчик в конце салона, но и тут наш герой не оставлял Л. Б. своим вниманием. Пустые заискивания и мелкие провокации оставались без ответов и наущений. Когда он старался присесть рядом с Л. Б., такая возможность ему предоставлялась. Не дождавшись реакции Прекрасной дамы, он удалялся, и все повторялось вновь. Лидия Борисовна только весело приговаривала: «Вот такой внучок под бочок».

Детей у Либединской было пятеро, внуков в то время уже четырнадцать, не говоря о двадцати правнуках. А близких друзей — не счесть. И всех она безмерно любила. И всем надо было привезти нужные подарки.

И вот, в каком-то французском городе (Арль, Оранж, Лион?) в отведенное нам свободное время мы со страстью бросаемся в местные лавочки, предавшись захватывающей шопинговой игре.

— Сколько стоит эта синяя вазочка? — перевожу я скучающей продавщице по наводке Л. Б.

— Берем!

— Да кто же все это понесет? — ворчу я, когда мы, нагруженные сверх меры дарами и синей посудой, останавливаемся перед очередным магазинчиком.

— Какая странная витрина, — удивляется Л. Б., и я действительно вижу какие-то взлохмаченные манекены.

— Да это мы с вами, — говорю я, не сразу поняв, — зеркало не врет...

Смеемся. В кого же мы превратились после этого ненасытного дня...

Дом Л. Б. в Лаврушинском переулке содержался в образцовом порядке, хотя подчас превращался в гостиницу, где приют был всем: музейщикам, случайно встреченным на перепутьях дорог, восторженным любителям литературы и просто друзьям и близким. Обед для любого даже случайно зашедшего на огонек, званого и незваного гостя готовился и сервировался хозяйкой самолично (и тут уж равных ей нет!).

В праздники искусно накрытый бескрайний стол, где должно было комфортно разместиться невозможное количество гостей, превращался

в святилище. Расставлялись фасонные тарелки, только что привезенные из очередной поездки (что было непреложным законом), а в экзотические кольца, привычные для столовых убранств растаявших столетий, вдевались настоящие холщевые салфетки, кажется, даже со старозаветной мережкой. На серебряные подставки по праву родства водворялись массивные ножи-вилки, и стол, освещенный пламенем свечей в массивных канделябрах, заполнялся роскошеством даров (даже когда дефицит в оскудевших советских магазинах вылавливался с трудом).

Вспоминаю, что за праздничной трапезой (да и не только!) я провела много счастливых минут с Лидией Борисовной и с ее поразительными друзьями. Пили, ели, читали стихи, в ход шла гитара, и, главное, в повестке дня был всегда широкий обзор текущих событий. Размер кухни, в опасные времена впитывающей потаенные разговоры, разрастался до объема квартиры.

Не забыть встреч наступающих Новых годов, Дней рождения Лидии Борисовны, когда все прекрасные, талантливые, благородные люди (а их не перечесать!) появлялись, занимали место за бескрайним столом, исчезали и вновь появлялись. Но это все сюжеты для других воспоминаний, которых не коснемся, ибо они по закону жанра остались в связке с другими «колечками» — «картинками из мозаики» этой несравненной жизни.

Мы же приближаемся к концу феерического путешествия, в частности обремененные (но с глубоким удовлетворением) результатами нашего неумного шопинга.

В тот год Л. Б. была особенно увлечена синей посудой, отлично собиравшейся даже в пылу постижения европейской культуры для очередного домашнего праздника.

Оставался вопрос: кто это все дотащит до поезда? Но зато в Москве...

Накануне отъезда наш спартанец-автобус, прогнувшись до предела, еле стоял на колесах. Наполненность всем приобретенным — зашкаливала. Только «внучок под бочок», изрядно порастратившийся на французские напитки, чувствовал себя необремененным и как-то боком, отнюдь не с прежним упорным самодовольством приближался к нашему запасному диванчику.

Он был собран, аккуратен и трезв. Встав на колено перед особенной женщиной, произнес свою покаянную речь. Просил прощения, предлагал помощь.

Потом, на обратном пути в Москву, при смене гостиниц и на пересадках он был замечен не раз с огромной сумкой синей посуды, охраняемой как бесценное королевское наследство, предназначенное далеким друзьям и близким родственникам так случайно встретившейся ему странной путешественницы, не похожей ни на кого.

«ЗАПОМНИТЕ 2–3 ЦИТАТКИ ИЗ „МАТЕРИАЛИЗМА  
И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМА“, И ДЕЛО В...» (ЭЙДЕЛЬМАН)

Смотрю в окно...

Огней сиянье, ночь и пустота.

И только поезд по мосту метро несется через реку...

Всегда хотелось мне его остановить,

чтоб влезть в вагон на берегу

на твердой почве полустанка.

Но как остановить несущуюся жизнь?

Безудержно спешит она в чертоги Стикса...

Давным-давно мы были арбатскими соседями. Мне со Смоленского бульвара не составляло труда добежать до знаменитых «Консервов», на угол Спасопесковского и Арбата, где в типовых домах 1930-х годов в коммунальной квартире в двух смежных комнатах проживало чудесное семейство Эйдельманов. Отец Натана — Яков Наумович, вернувшийся по реабилитации из лагерей, и мать Мария Натановна являли собой пример такой спокойной любви, доброты и благорасположения к людям (я сразу же почувствовала это на себе), что сразу становилось понятно, откуда взялся у них такой сын.

Где познакомились? Думаю, на «Группе по изучению первой революционной ситуации в России 1859–1861 гг.», что звучит сегодня довольно экзотично, если не сказать подозрительно. Подобное воспоминание — не для ночных, путающихся наскоков обрывочной мысли. Утро ночи мудренее.

Тут придется поворошить старыми бумагами, снять с полок кипу подаренных мне книг, чтоб хоть коротко восстановить хронологию событий нашего знакомства.

В конце 50-х годов академический Институт истории СССР, научный сектор академика М. В. Нечкиной, совместно с вышеуказанной «Группой» развертывал колоссальную работу по факсимильному воспроизведению изданий Вольной русской типографии Герцена — Огарева, куда после окончания Историко-архивного института, не имея никакой работы, просто на общественных началах была приобщена и я.

На собраниях шумели и спорили взрослые историки разных направлений и все равно единого мировоззрения: чистки 30–50-х годов вошли в их кровь и плоть. Впрочем, в пору хрущевской оттепели стали появляться и несогласные, пытавшиеся не только разобраться в исторических корнях кровавых событий XX века, но и дать правдивую картину более отдаленного прошлого, тоже бессовестно искажаемого. Открытие спецхранов архивов и библиотек и широкая доступность известных исторических источников, которые требовалось прочесть незамутненными, новыми глазами, стало веянием времени.

Прорыв в разных областях знания и культуры явно не обошел историческую науку. Интерес к отдельной личности, представителям правящего класса, отнюдь не безнадежным в их антипатриотических устремлениях навредить идеологии СССР, давал сбой в закодированных марксистских заклинаниях, непререкаемых концепциях: социально-экономических формациях, угнетенных классах, надстройках, базисах, ленинских периодизациях, книгах, названия которых мне и теперь трудно воспроизвести — «эм-пи-ри-о-кри-ти-цизм» и пр.

Немудрено, что одним из первых на эту дорогу свободного творческого индивидуализма вступил Натан Яковлевич Эйдельман. И тут точнее Герцена не скажешь: «...путь этот, может, и не так легок, но воздух, который веет на нем, необыкновенно чист».

Эйдельман сам выбирал своих героев: Герцена, Пушкина, Лунина, Пушкина, Одоевского — личностей свободных, благородных, талантливых, немало претерпевших от власти. И в этом смысле «жизнь сочинителя» была «драгоценным комментарием к его сочинениям».

Когда я впервые увидела Н. Я. на «Группе ревситуации» — молодого, пылкого, полного самостоятельных идей, которые нельзя было сразу выплеснуть перед синклитом академических старейшин, за его плечами уже стояла «университетская история», приведшая к разного рода репрессиям ее участников. Эйдельману удалось устроиться в Областной краеведческий музей Нового Иерусалима. Удаление неугодных из пределов столицы как метод расправы в данном случае не сработал, а только принес богатые плоды.

В архиве музея-монастыря им был обнаружен потрясающий экземпляр герценовского «Колокола», принадлежавший хормейстеру и душевладельцу Ю. Н. Голицыну, с приложенными к нему письмами князя-крепостника и его кумира Герцена. Счастливая эта находка надолго определила интерес и приверженность историка к герценовской теме. Она нас во многом дружески и объединяла.

Счастливым поворотом судьбы Н. Я. вопреки обстоятельствам стал и переход к художественному творчеству, массовой литературе, доступной широкому кругу читателей. Критики и даже любвеобильные коллеги часто упрекали Эйдельмана за то, что он сворачивает с чистой академической стези, а он упорно продолжал свою проповедническую миссию, считая, что истина истории всегда прорвется там, где заслоны не столь тверды, как в официальной науке.

И тут уж историческому знанию повезло чрезвычайно, герценоведение обогатилось безмерно. Вышли «Герценовский „Колокол“» (1963), «Тайные корреспонденты „Полярной звезды“» (1966), «Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII–XIX вв. и Вольная печать» (1973), множество статей и целая серия художественно прокомментированных Эйдельманом факсимильных изданий Вольной русской типографии.

Академический институт — идеологическое режимное святилище, куда вход не всем, принимая талант и работоспособность Эйдельмана, пользовался его частными услугами, обогащая собственные достижения неумными трудами ученого, никогда не ставшего казеннокоштным. Конечно, всякий «отказ от дома», несмотря на оптимистические заверения самой М. В. Нечкиной, так и не сумевшей перебороть твердокаменную институтскую дирекцию, думаю, больно его ранил.

Ближе мы познакомились во время первой нашей совместной работы над «Историческими сборниками», когда моя диссертация (конечно же, по Герцену) уже была близка к завершению.

Этот увлекательный исторический источник — сборник, составленный лондонскими издателями из присланных секретных материалов запретной русской истории «вчерашнего дня»: Екатерина II и «повреждение нравов в России», «чухонское происхождение» Павла I и его убийство, Александр I и декабристы, история Федора Кузьмича и тайные слухи о причине кончины Николая I. Здесь на темном фоне дворцовых преступлений и интриг вышуклее выступали и светлые, благородные личности, вроде адмирала Н. С. Мордвинова — единственного из членов Верховного уголовного суда не голосовавшего за казнь декабристов.

Наша с Н. Я. работа над комментированием «Исторических сборников» перемежалась встречами и в институте, и на Арбате. Порой, когда мое настроение падало из-за возникших трудноразрешимых вопросов моего диссертационного будущего, мы заглядывали в «Стрелу» — уютнейший кинотеатр на углу Ружейного переулка и Смоленской площади,

так бессмысленно смытый временем. Любимый фильм Натана Яковлевича «Не горюй!» (и тут я к нему присоединяюсь) давал временное отдохновение. Оптимизм талантливое пребывания на земле его добрых героев захватывал, и некоторые серьезные проблемы действительно отодвигались.

Теперь неловко вспомнить: боязнь будущего кандидатского экзамена по марксистской философии меня не просто не оставляла, а мешала мне жить.

Как можно выучить всю эту тяготицу? Эйдельман утешал. Мы вышагивали по Арбату. Эйдельман декламировал:

...за гносеологической схоластикой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партии и философии, борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и идеологию враждебных классов современного общества... Объективная классовая роль эмпириокритицизма всецело сводится к прислужничеству фидеистам...

Запомните 2–3 цитатки из «Материализма и эмпириокритицизма», 2–3 основных Марксовых постулата — и дело сделано. Учтите, в каждом билете, в каждой предложенной теме вы сможете употребить всегда эту минимально необходимую цитацию, и никто вас не остановит и не осудит.

Все это отдавало анекдотом, но чудодейственно помогло, как лекарство, выписанное от всех болезней. До сих пор помню листки, заполненные под диктовку Натана Яковлевича. Сознаюсь, что не в силах выучить даже две эти цитаты шпаргалку взяла на экзамен.

Поражала феноменальная память этого человека, его безотказность, щедрая раздача собственных сюжетов, идей многим посторонним (не говоря о друзьях), которые стали его неофициальными учениками, потому что по природе своей он был Учителем. Его четкие указания, где, в каком краю света следует искать тот или иной документ, невозможность до перестройки самому, «невыездному», проделать этот путь прибавляли горечи, но были и радостью за успех других, а значит, и пользой для общего дела.

«Письма из Сибири» Михаила Сергеевича Лунина, за которые мы взялись в конце 70-х, заняли много лет нашей жизни. Труды декабриста-одиночки — блестящего гвардейского подполковника, воина, светского льва, героя легенд, кумира молодежи и каторжника, ссыльного, «апостола свободы», непреклонного узника Акатуя — никогда не собирались вместе, а иногда и вовсе не были известны. Академическое их собрание требовало глубочайшей проработки и точных переводов со множества

языков, анализа источников, редакций, разночтений, сложнейшего комментирования и погружения в архивные залежи.

И вся эта работа длиной в десятилетие при чудодейственной помощи наших бескорыстных «сопластников», редакторов, переводчиков, сочувствующих была прожита нами вместе с Луниным — напряженно и счастливо. Один полет в Иркутск и поездка в лунинский Урик лютой зимой 1985 вспоминаются как космические странствования.

Слово бесстрашного узника помогало нам, он говорил за всех нас.

4-е письмо из Сибирской ссылки (1839), отосланное сестре, но в надежде на его распространение в обществе, Лунин завершал словами:

...какой-нибудь холодный и расчетливый ум найдет, может быть, что я говорю о делах, которые до меня уже не касаются. Я говорю потому, что те молчат, до кого это касается. Паскаль верил свидетельству идущих на смерть. Отрекшиеся от личной свободы, от всякого благосостояния, от всякого звания общественного, кажется, заслуживают также некоторой доверенности. Облеченным властью следует рассмотреть: не скрывается ли какая-нибудь истина в этом изложении, начертанном по глубокому убеждению.

Смелые антиправительственные филиппики Лунина в брежневском застойном болоте отдавались довольно громким эхом. Работа шла как раз в разгар массового движения «Солидарность». Цензура не дремала. Солидные издания срочно выбрасывали и подчищали польскую тематику.

Эйдельман был непреклонен: оставим все как есть, никакой самоцензуры, на это есть другие, авось пронесет, а там уж как Бог пошлет...

Лунин давно был героем Эйдельмана, книга его в ЖЗЛ — одна из лучших, так что два наших лунинских издания (в 1988 г. в Иркутске в многотомном проекте «Полярной звезды» вышел еще серийный Лунин) были для него своеобразным кредо свободного самовыражения.

Внешняя легкая веселость, радость узнавания, общения, бесконечных застольных озарений, иногда неумеренно яркий энтузиазм жизни наразрыв при подчас тяжелейших душевных терзаниях, скрытых от постороннего глаза, не позволили уберечься от скрытой болезни сердца. Наш общий праздник с уходом таких людей угасает... Его талантливое присутствие остается. Жизнь — в книгах.

По дарственным ласковым и каракулеобразным надписям Н. Я., которые не всегда теперь разберешь, вдруг возникают мгновенья нашего дружеского сотрудничества: сначала «в ожидании рассекреченных „Исторических сборников“» («Тайные корреспонденты...», 1966), «Еще

о нашем славном XIX-м от автора и коллеги» («Лунин», 1970), «...вот Пушкин — и уж следом будет наш Лунин!» («Пушкин и декабристы», 1979), «...о нашем Павлике» («Грань веков», 1982), «Пламенной Лунинке — от друга — солунинца — согерценца — Vale!» («Большой Жанно», 1982), «...старинной со-лунинке» («Обреченный отряд», 1987).

И вот последняя подаренная мне книжка — с провидческим обращением: «Дорогая Ирочка! Может быть (начертанная им стрелка пошла вверх, к печатному на титуле названию. — *И. Ж.*) *Мгновенье славы настаёт... Vivat! 18.X.89*». До ухода Историка и Учителя — 42 дня.

Часто вспоминаю его мудрые советы, подсказки, наущения. Как бы сложилась моя жизнь, если б не эта встреча и не подброшенные верной рукой давно забытые теперь цитаты-постулаты?

«Запомните 2–3 цитатки из „Материализма и эмпириокритицизма“, и дело в...»

#### «СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ...» (АНДРОНИКОВ)

Смотрю в окно...

Абстрактная картина.

Снегопад.

Пейзаж как будто затушеван невидимой рукой.

Белое на белом.

Ни новогодней елки у мощного торгового гиганта «Европейский», ни радуги рекламного сиянья.

И часа не проходит, как вновь картинка в цвете.

На днях позвонила Катя, Екатерина Ираклиевна Андроникова, которую знаю так давно... Никогда не забывает поздравить. Приятно.

Даты наслаиваются одна на другую. Десятилетия прошли, сколько событий, встреч, сколько почти растворившихся впечатлений...

Часто вспоминаю всех вас, так хотелось бы написать об Ираклии Луарсабовиче, Вивиане Абелевне и, как понимаю сейчас, о той сконцентрированной, часто грозовой атмосфере тогдашней вашей жизни, вовсе не простой, но такой талантливой и поистине фантастичной.

Боюсь, что время мое ушло. Вряд ли теперь получится, взять хоть вашу невероятную квартиру на Кировской, в доме «Чаеуправления», какую-то особенную, загадочную, не как у всех.

А в голове уже проявляется, словно на старой фотографии, знаменитый сказочный дом в «псевдокитайском» стиле, наполненный тропическими ароматами дальних стран с их устоявшимися легендами чайных церемоний.



Под самой крышей этой восточной пагоды, куда стремилась тогда вся страна, сильно обделенная гастрономическими впечатлениями, незаметно расположился целый жилой этаж. По лестнице, только пешком, доберешься до верха этой экзотической шкатулки, тронутой временем коммуналок. Понятно, лифта нет. И Ираклию Луарсабовичу с годами все труднее было взбегать по крутым ступеням — именно взбегать, ибо такова была его стремительная, взлетная натура.

Дверь в этот «Сезам» на Кировской плавно открывалась и для меня. С лестницы вступаешь сразу в длинный коридор, оттуда попадаешь в так называемую столовую, устроившуюся в аппендиксе этой кишки, с вдвинутым туда до упора немалых размеров столом и простыми лавками вместо стульев: народ у Андрониковых не переводился, а жилплощади явно неоставало. Все было нетиповое, особенное.

Сражала наповал неумеренной величины серая корова с развернутой в фас головой, как у египетских сфинксов, смотревшая прямо на меня. Я всегда была уверена, что именно здесь, в импровизированной столовой, под впервые увиденным наивным шедевром фантастического Пиросмани, я с юной дерзостью начинающего историка-архивиста редактировала с Ираклием Луарсабовичем свой первый опус, как догадываетесь, по Герцену. На подаренном мне вскоре оттиске своей научной статьи «Автограф остается неизвестным» в академическом сборнике «Проблемы современной филологии» Андроников написал:

Дорогой Ире Желваковой в ее библиотеку — в раздел вырезок и оттисков, касающихся вольной русской печати за рубежом в 1850–60-е годы, в надежде, что этот период послужит темой ее будущей работы и будущих работ. Дружески, с уважением и большими надеждами на нее (не на тему, а на Иру). 1965 апреля 18.

Через много лет я осмелилась даже согласиться на нашу совместную работу над альбомом «Лермонтов. Картины. Акварели. Рисунки» (1980), где мне пришлось основной герценовский интерес на время потеснить увлечением Лермонтовым.

«Квартира действительно была не типовая, особенная», — соглашалась Катя. Позже она уточняла: «Этот аппендикс со столом выводил прежде на черный ход, давно законопаченный. Стены были обильно выкрашены густой ярко-желтой краской, которую принято было называть *канареечной*, как и комнатку в целом. И веселое это, «токсичное» словечко с поводом и без повода было всегда в ходу.

Но «полотна с коровой» здесь не было. Обе картины — и корова, и лев, в пару к первой, тоже Пиросмани, появились только на Пушкинской, следующей нашей квартире. А на канареечной фальшь-стене висел вовсе не Пиросмани, а портрет отца работы Сарьяна.

Вот и верь изменчивой памяти новоявленной «мемуаристки»...

Если все же начать историю *ab ovo*, то надо обратиться к Литературному музею, где я проходила в то время институтскую практику.

В рукописном отделе ГЛМ, размещавшемся в мезонине уютного особняка на улице Димитрова (Якиманке), исчезнувшего впоследствии по случаю расчистки дороги для прибывшего с визитом президента США Никсона, царствовала тогда Татьяна Алексеевна Тургенева. Знатный архивист и графолог. Личность именитая. Та самая, из «трехсестринского круга Тургеневых», закрепленного цветаевской легендой о «двоюродных внучках Тургенева»: «В одну влюблен поэт Сережа Соловьев, племянник Владимира, в другую — Андрей Белый, в третью — пока никто, потому что двенадцать лет, но скоро влюбятся все».

О средней из сестер — Асе, жене Андрея Белого, и о младшей Тане, по первому браку за Сергеем Соловьевым, сидевшей в гимназии за одной партией с Анастасией Цветаевой, поминали в литературе не раз.

Татьяна Алексеевна Тургенева стала первым моим «проводатым» в бумажные лабиринты и дебри генеалогий прошлого. Преподан был и урок человеческого общения, неустойчивого равновесия приязней и заинтересованности даже в безнадежном деле. Прививался навык поиска нового, неизвестного, кажется, навсегда пропавшего документа, кропотливого восстановления рассеявшейся, стертой временем исторической памяти о человеке или событии. Но главное, Татьяна Алексеевна ввела меня в дом Андрониковых, на их первую переделкинскую дачу, что стояла до случившегося пожара на краю «неясной поляны» (как называли местные аборигены еще не застроенное ныне обширное зеленое пространство).

В пору архивной практики мы с Т. А. Тургеновой, знавшей всю окололитературную Москву, делали вылазки к видным деятелям нашего «истеблишмента» (иногда одним иностранным словом, в те годы, конечно, не употребляемым, можно короче дойти до сути), чтобы они поставили свою подпись под обращением о немедленном создании Музея Пушкина, еще замышлявшегося как филиал Литмузея. Впрочем, с весны 1958 года уже ставшего самостоятельным.

Встреча на террасе переделкинской дачи с Вивианой Абелевной и Ираклием Луарсабовичем Андрониковыми после формального посещения писательских «бонз», не оставивших без внимания требование москвичей, была не только незабываемо сердечной, но и захватывающе занимательной (что только не было извлечено из недр музейного, филологического бескрайнего знания хозяина). Эта нечаянная радость празднично-познавательного общения была настоящим подарком судьбы. Я буквально заразилась азартом поиска и находок.

Потрясала насыщенность жизни этой разрастающейся семьи, твердо ведомой Вивианой Абелевной — талантливой, всеотзывчивой, истинно alter ego Андроникова. Забот у нее было предостаточно. К дочери Кати — Ирише (по-семейному, Тюпе) — вскоре прибавился еще новый Ираклий — Ика. Их возраст теперь? Годы сказали свое. Уже растут андрониковские правнучки.

Кто только не перебивал во всех домах и квартирах Андрониковых: от Кировской, Пушкинской до Безбожного переулка. Скажем просто: вся талантливая Москва.

Мои походы к Андрониковым, чаще воскресные, сопровождались дружеским участием (в котором тогда остро нуждалась) и, конечно, полной открытостью: я тут уже «своя».

Вивиана Абелевна встречается на кухне, как всегда колдуя над будущим застольем. О грузинском меню нечего и говорить. Терпкие ароматы вожделенного сациви и лобио сшибают с ног.

Ираклий Луарсабович выходит из кабинета, загадочно, чуть с хитрецей улыбается. Иногда что-то артистически напевает, размахивая руками. Понимаю: дирижирует, наверное, вспоминая манеру управления оркестром любимого Штидри или кого-то из великих интерпретаторов классики. Потому что музыка — это страсть, и знает он ее в совершенстве.

За столом часто рассказывает, особенно когда попросят. Порой это наброски будущих устных рассказов, проверяемых на домашней аудитории. Часто просят повторить что-то из услышанного на большой эстраде, и комната наполняется дружным смехом присутствующих при чуде. Осмелев, я тоже присоединяюсь к жаждущим повторения особо поразивших меня сюжетов. И тут уж не схватишься за словечко или за пронзившую фразу. Это целая симфония из музыки и слова.

Храню рукотворные трофеи: две пластинки «Искусство Ираклия Андроникова» с серьезным портретом И. Л. на конверте. Выцветшая надпись от 29 июля 1976 года (кстати, год открытия Дома-музея Герцена): «Вишь, как расстроен! // Выяснилось, что никогда не дарил нашей милой Ире Желваковой // ни своих книг, ни пластинок! // Не доволен, спорит. Вот он» [стрелка указывает на портрет]. Андроников в сером костюме в полоску. Неудобно сидит на стуле, 3/4 вправо, слегка отодвинув назад левую руку. Жестокая болезнь, пока не мешающаяся работе, только подкрадывается. На другой фотографии, мне подаренной через шесть лет, Ираклий Луарсабович в том же костюме, а голова еще больше поседела.

Достаю Собрание сочинений в 3-х томах в зеленом переплете с узнаваемым автографом, как всегда стоящее на полке в первом ряду. На днях взялась перелистать.

Феномен Андроникова по-прежнему поражает, ни восторженными восклицаниями, ни заслуженными высокими оценками разгадать этот неумеренный талант до конца никому не удается.

Интуиция исследователя, знакомого с Лермонтовым как с личностью живою, никогда не покидавшей пределы земной юдоли; инстинкт охотника, обнаруживающего документ там, где никто его не ищет; память, знание, юмор, особая музыкальность, умение заморозить своим впечатлением о сугубо научном событии, историческом лице, стихотворной строке людей вовсе не причастных, далеких от подобных интересов.

Никакой самый лучший актер не мог бы так передать магическую достоверность цитируемого высказывания, частного письма, документа, воспроизвести многоголосье, артистически воображаемые особенности речи персонажей прошлого.

Очевидно, что устные рассказы Андроникова, собиравшие огромные залы, вроде Ленинградской филармонии, расширяли задернутый условностями кругозор нашего человека, прививали талант, уважение к прошлому, так сказать, возвращали в лоно гуманитарной цивилизации. Но вот вопрос, который множество раз задавала себе: как, каким образом можно было так «сдублировать», «клонировать» человека — не только воспроизвести его голос, интонацию и особенности разговорной манеры (это доступно многим), но и вложить в уста «двойника» его собственные слова и мысли? Ведь теперь мы воспринимаем голос, к примеру А. Толстого или Маршака, только озвученный Андрониковым.

Древнее воспоминание о феноменальном «подражателе» — драматурге Денисе Ивановиче Фонвизине, о невероятной его способности удивлять современников умением «передражничать не только языком, но и умом» — не только фраза, но и явная талантливая традиция, и в ней неподражаем, единственен мастер, маэстро, я бы даже сказала «фокусник» слова, жеста, интонации, скрепленных мыслью, — Ираклий Андроников.

Ираклий Луарсабович был истинным защитником музеев (понятно, что и всей культуры в широком смысле этого слова). Именно его авторитет стал залогом непрекаемой необходимости литературных, мемориальных музеев. А «музейный» или «архивный» человек, безглаголиво причисляемый ранее к «черной кости», обрел высокий моральный статус подвижника и даже «последнего святого на Руси». Неустанное стремление Ираклия Луарсабовича создать в Москве Музей Лермонтова (в конце жизни он не раз повторял, что ни за что не умрет, пока Дом не откроется) увенчалось, как всегда у людей отважных, одержимых любовью в Делу, полным успехом. И невозможно забыть февральский этот день 1981 года, когда на Молчановке в «домике-крошечке», помнящем юного Лермонтова, уже тяжело больной Ираклий Луарсабович разрезал символическую ленточку.

Столько лет прошло. Двери дома Поэта и его радетелей давно открылись для всех. А я все еще стою перед дверью волшебного дома на Кировской — моим «сезамом» в прошлое, едва решаясь туда войти.

«Сезам, откройся...»

---

Zhelvakova, I. A. 2023. "«Smotryu v okno...» [‘Looking out the Window...’] [in Russian]. *Philosophy. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* 7 (3), 283–319.

---

IRENA ZHELVAKOVA

PHD IN HISTORY, MEMBER OF THE MOSCOW WRITERS UNION

DIRECTOR OF A. I. HERZEN HOUSE-MUSEUM,

STATE MUSEUM OF THE HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE NAMED AFTER VLADIMIR DAHL (MOSCOW, RUSSIA)

“LOOKING OUT THE WINDOW...”

DOI: 10.17323/2587-8719-2023-3-283-319.